



$C \bullet V U U K U H$

очевидец

стихотворения разных лет



Советский писатель Москва 1967 Семен Липкин, широко известный читателям своими переводами из поэзии Востока, впервые предстает в книге «Очевидец» как оригинальный поэт.

В книге собраны стихотворения нескольких десятилетий. Для стихов Липкина характерны точность и оригинальность мысли, изящество формы, глубина чувства. Многие произведения, составившие основу сборника, публиковались в периодических изданиях.

Знакомые места

САД НА КРАЮ ПУСТЫНИ

Сад роскошен, высок и велик. В темноте растворилась ограда. Лают псы. Чей-то слышится крик. Словно голубь, воркует арык. Лишь молчит население сада.

Что ему в этих звездных очах, В дальней ругани, в пьяных ночах, Где тревога и горе таятся, Где в пустынных ревет камышах Тигр в оранжевых брюках паяца.

Для чего ему, саду, слова, Если ветками яблони всеми Доказал он, что правда жива, Что бесстрашны плодовые семьи И недаром полны торжества.

Как нужна эта горькая смелость, Эта чаша, что пьется до дна, Для которой и жить бы хотелось,

Для которой и песня бы пелась, Для которой и ложь не нужна!

А в саду зарождаются розы. Мир дробится на капли глюкозы, Чтобы целостным сделаться вновь. Затеваются ливни и грозы, У стены, где надрезаны лозы, Как счастливые первые слезы, Виноградная капает кровь.

НА ТЯНЬ-ШАНЕ

Бьется бабочка в горле кумгана, Спит на жердочке беркут седой, И глядит на них Зигмунд Сметана, Элегантный варшавский портной.

Издалёка занес его случай, А другие исчезли в золе, Там, за проволокою колючей, И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом, Залетает листок невзначай. Над горами— туман. За туманом— Вы подумайте только— Китай!

В этот час появляются люди: Коневод на кобылке Сафо, И семейство верхом на верблюде, И в вельветовой куртке райфо. День в пыли исчезает, как всадник. Овцы тихо вбегают в закут. Зябко прячет листы виноградник, И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее, Под навесом, вечерней порой... И стоит с сантиметром на шее Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка, — Это жжет его мертвым огнем, Это ставшая прахом Треблинка Жгучий пепел оставила в нем.

1948 Токмак

ПУСТЫРЬ

Я родился в доме двухэтажном. Двадцать было в нем квартир. Зеркалом цирюльни, вечно влажным, Окнами портняжным и скорняжным Он глядел на божий мир.

Вывески. На их рисунках плоских Был мне виден каждый цех. Полдень в пыльных трепетал полосках, Солнечный апрель играл на досках, Где сушился мокрый мех.

От всего, что с веком сочеталось, Что стремилось вдаль и вширь, От всего, что в детстве здесь мечталось, — Ничего от дома не осталось, Там — до времени — пустырь.

— Бомба угодила на рассвете, — Объясняет старожил. Но другие новости в газете,

Дни другие, и не знают дети Тех, кто здесь когда-то жил.

Но они, когда сюда приеду, Мертвые, зовут меня. Иногда я возражу соседу, И вступает в жаркую беседу Солнце нынешнего дня.

SHAKOMHE MECTA

Эти горные краски заката Над белой повязкой. Этот маленький город, зажатый В подкове кавказской.

Этот княжеский парк, освещенный До самых нагорий, Уцелевшие чудом колонны В садах санаторий.

Этот облик, задумчиво-жуткий, Разрушенных зданий. Этот смех, эти грубые шутки Вечерних гуляний.

Листьев липы на плитах обкома Подвижные пятна, — Как все это понятно, знакомо И невероятно.

Те же горные краски заката Сверкали когда-то. Падал, двигаясь, отсвет пожара На площадь базара.

Вот ракета взвилась и упала В районе вокзала. Низкой пыли волна пробежала, Арба провизжала.

И по улицам этим, прижатым К кизиловым скатам, Шел я шагом не то виноватым, Не то вороватым.

Но в душе никого не боялся, Над смертью смеялся, И в душе моей был в те мгновенья Восторг вдохновенья

И такое предчувствие счастья, Свобода такая, Что душа разрывалась на части, Ликуя, сгорая...

СОЛОВЬИ

Поговорим о бродягах С горькой мечтой о корчме. Птицы в мужицких сермягах Свищут в зеленой тюрьме.

До смерти им надоели Баловни глупой судьбы — Эти сановные ели, Эти тупые дубы.

Осточертела до боли Листьев могучая цепь. Хочется в чистое поле, Хочется в нищую степь.

Хочется жизни — голодной, Но хоть на несколько дней, Хоть на минуту — свободной, Хоть на мгновенье — своей. В диком, огнистом тумане Песню беспечную спеть И в разноцветном жупане В марево смерти влететь.

Август, 1944

СНОВА В ОДЕССЕ

Ярко-красный вагончик, кусты будяка, Тишина станционного рынка, И по-прежнему воля степная горька, И, как прежде, глазами, сквозь щелку платка, Улыбается мне украинка.

Оказалось, что родина есть у меня. Не хотят от меня отказаться, Ожидая, тоскуя и верность храня, Кое-где пожелтев среди летнего дня, Молчаливые листья акаций.

Оказалось, что наши родные места И меня признают, как родного, Что по-прежнему море меняет цвета, Но ко мне постоянна его доброта, Неизменно щедра и сурова.

Я в развалинах столько квартир узнаю, Столько лиц, дорогих и знакомых, Этот щебень я знаю, как душу свою, Здесь я жил, здесь я каждую помню семью В этих мертвых оконных проемах.

Пустыри невысокой травой заросли, Что прожилочкой каждой близка мне, Будто сам я скрывался в подпольной пыли, Будто сам я поднялся на свет из земли, С непривычки цепляясь за камни.

Черт возьми, еще пляшет кожевенный цех, Подпевает игла с дребезжаньем. Я — поэт ваш, я — злость ваша, мука и смех, Я — ваш стыд, ваша месть, обожаю вас всех Материнским слепым обожаньем.

Это море ночное с коврами огня, Эти улицы с дерзкой толпою, Это смутное чаянье нового дня... Оказалось, что родина есть у меня, Я скреплен с ее трудной судьбою.

МОЛОДАЯ МАТЬ

Лежала Настенька на печке, Начфин проезжий — на полу. Посапывали две овечки За рукомойником, в углу.

В окне белела смутно вишня, В кустах таился частокол. И старой бабке было слышно, Как босиком начфин прошел.

Ее испуг, его досада
И тихий жаркий разговор:
— Не надо, боже ж мой, не надо!
— Нет, надо! — отвечал майор.

Не на Дону, уже за Бугом Начфин ведет свои дела, Черты бессмысленного счастья, Любви бессмысленной черты, — Пленяет и пугает Настя Сияньем юной красоты,

Каким-то робким просветленьем, Понятным только ей одной, Слегка тревожным удивленьем Пред сладкой радостью земной.

Она совсем еще невинна И целомудренна, как мать. Еще не могут глазки сына Ей никого напоминать.

Кого же? Вишню с белой пеной? Овечек? Частокол в кустах? Каков собою был военный? Красив ли? Молод ли? В годах?

Все горести еще далёки, Еще таит седая рань Станичниц грубые попреки, И утешения, и брань.

Она сойдет с ребенком к Дону, Когда в цветах забродит хмель, Когда Сикстинскую мадонну С нее напишет Рафаэль.

две весны

1

На всем лежала тень войны. Стояли цехи молчаливо. И только фабрика весны Работала без перерыва.

Я в скрежете плывущих льдин, Что сталкивались бестолково, Услышал вечный гул машин И двигателя теплового.

Река стремилась ото льда Освободить себя всецело, А слева, наверху, вода Еще на твердом льду желтела.

Зато пониже, за косой, Она уже свободно мчалась,

Подвижной серой полосой Меж ветлами обозначалась.

Увы, понять нам тяжело, Я думал, стоя у причала, Что в холоде самом тепло Всегда берет свое начало.

Не только над баржой дымок С его растаявшей печалью, — Я тоже был не одинок, Я был весеннею деталью.

Не знал я, что на фронте ждет, Но примирялся я с бедою: Как этот лед, как этот лед, Я стану легкою водою!

И оба нашей новизне Не уставали мы дивиться: Весна, звеневшая во мне, И я, и я, весны частица.

2

Она пришла ко мне опять, А я один в пустом поселке. Так много надо ей сказать, Не все ж смотреть на эти елки! Подходит к моему крыльцу, Как будто в чем-то утешает. Но что же мне теперь мешает С весною стать лицом к лицу?

Боюсь: а вдруг непоправимо Нарушена меж нами связь, Пройдет, не замечая, мимо, Чему-то своему смеясь?

Иль до поры я житель здешний И до меня ей дела нет? Как я страшусь ее примет, Когда вдыхаю воздух вешний!

В нем столько леденящих струй, В нем столько жарких дуновений, В нем столько горьких откровений, Нечаянных, как поцелуй...

Но стал я на ледок непрочный, Стал и прислушался к весне,— Не к той, что в час пришла урочный, А к той, что вспыхнула во мне,

Что веткам слезы подарила, Так много серебристых слез, Что вновь со мной заговорила, Как будто сам я произнес: — Меня убьет жара сухая, Меня сожжет палящий зной, И вновь умру я, воскресая, И ты во мне, и ты со мной.

Март, 1953

ВОРОБЫШЕК

Заколочены дачи. Не едут машины. Лишь бормочут во сне ближних сосен вершины, Прочным снегом лесок подмосковный одет. Так чему же ты рад, мой поэт воробьиный, В сером джемпере жгучий брюнет?

Медно-красного солнца сиянье сухое На тропинки легло, задрожало на хвое, Обожгло беспредельных снегов белизну, Ядом счастья вошло в твое сердце живое, И почуял ты, бедный, весну.

И тебе показалось, что нежен и розов Небосвод, что уж больше не будет морозов, В толщу снега проникла горячая дрожь, Даже в дальних, знакомых гудках паровозов Ты веселую весть узнаёшь.

То-то прыгаешь ты среди зимнего царства И чирикаешь вечную песню бунтарства. Ух какой озорной! Вот взлетел на забор,

И суровых, тяжелых снегов государство Охватил твой мятущийся взор.

Белка, хвост распушив, постоит перед елкой, Иль вдали ты заметишь монтера с кошелкой, Говоришь себе: «Скоро приедут жильцы, Это все не случайно. Запой же, защелкай, Чтоб тепла встрепенулись гонцы!»

Мой дружок, ты обманут, не жди ты веселий. Этот огненный шар, что горит между елей, — Он снегов холодней, он тепла не принес. Если хочешь ты знать, он — предвестник метелей, И в него-то ударит мороз.

Ну куда тебе петь! Скоро стужею дикой Будешь ты унесен по равнине великой. Впрочем, больно и стыдно тебя огорчать. Песни нет, а настала пора, так чирикай, Потому что труднее молчать.

И, быть может, когда ты сидел на заборе, Впрямь весна родилась, и пахучие зори, И свобода воды, и ликующий гром, — Ибо все это было в мятущемся взоре И в чириканье жалком твоем.

Март, 1953

КАВКАЗ ПОДО МНОЮ

Отселе я вижу потоков рожденье. *Пушкин*

У Маруси случилось большое несчастье: Взяли мужа. В субботу повез он врача И заехал к любовнице, пьяный отчасти. В ту же ночь он поранил ее сгоряча:

С кабардинцем застал. Дали срок и угнали. А Маруся жила с ним два года всего. И полна она злобы, любви и печали, Ненавидит его и жалеет его.

Камни тускло сбегают по ленте рекою, И Маруся, в брезентовой куртке, в штанах, Их ровняет беспомощной сильной рукою, И поток обрывается круто впотьмах.

Из окна у привода канатной дороги Виден грейдерный путь, что над бездной повис. В блеске солнца скользя, огибая отроги, Вагонетки с породой спускаются вниз.

В облаках исчезая часа на четыре, Возвращаются влажными: дождь на земле. Здесь, под вечными льдами, в заоблачном мире, Скалы нежатся в солнечном, ясном тепле.

Словно облако, мысль постепенно рождалась: Здесь легко человека причислить к богам Оттого, что под силу ему оказалось Добывать из эльбрусского камня вольфрам.

И сильней он становится с каждой попыткой, Он взобрался недаром наверх по стволу! Вот Маруся вошла, освещая карбидкой Транспортер, уплывающий в пыльную мглу.

А моторы дробилки шумят на Эльбрусе, Там, где горных орлов прекратился полет, — Об одном говорят они тихой Марусе: — Он вернется назад, он придет, он придет!

Пусть три тысячи двести над уровнем моря, Пусть меня грузовик мимо бездны провез, Все равно нахожусь я на уровне горя, На возвышенном уровне горя и слез.

Потому-то могу я улыбкой утешной На мгновенье в душе отразиться больной, Потому-то, и слабый, и, может быть, грешный, Я— на скалах Кавказа, Кавказ подо мной!

ЮЖНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Южный полдень. Так женственно нежны Серых скал и хребтов очертанья, Так под ними белы, безмятежны Санаторные зданья.

Так легка синева небосклона, Каждый раз так чудесно-нежданна, Над балконом, над желто-зеленой Головою каштана.

Только листья бормочут порою, Да слышна воробьев перекличка, Да внизу, далеко за листвою, Прогудит электричка.

Только ветер, холодный и чистый, Сквозь жару набежит с перевала, — Будто здесь не бывали фашисты И убийств не бывало.

Что ж, проходят кровавые годы, Эту прелесть ничто не порочит, Но в короткую память природы Сердце верить не хочет.

ПЕПЕЛ

Постарались и солнце и осень, На деревьях листву подожгли. Дети племени кленов и сосен, Отпылав, на земле полегли.

Очертаньем, окраскою кожи, Плотью, соком, красою резной Друг на друга листы не похожи, Но лежат они кучей сплошной.

В этом, красном — обличье индийца, Этот, желтый — ну, право, монгол. Этот миром не мог насладиться, Зеленея, сгорел, отошел.

Не хотим удивляться бессилью, Словно так им и надо лежать, Пеплом осени, лагерной пылью Под ногами прохожих шуршать.

Отчего же осенним затишьем Мы стоим над опавшей листвой И особенным воздухом дышим И не знаем вины за собой?

Тополей и засохших орешин, Видно, тоже судьба не проста. Ну, а я-то не лист, не безгрешен, Но, быть может, я лучше листа?

Знал я горе, стремление к благу, Муки совести, жгучий позор... Неужели вот так же я лягу — Пепел осени, лагерный сор?

POCA

В. С. Гроссману

Не тревожьтесь: вы только березы. Что же льете вы терпкие слезы? Ты, сосна, так и будешь сосною. Что ж ты плачешь слезой смоляною? Травы милые, лес подмосковный, Неужели вы тоже виновны?

Только дачники, сладко балдея, К счастью слабой душой тяготея, Не хотят огорчиться слезою И зовут эти слезы — росою.

И проходят, веселые, мимо, Забывая, что эти росинки— Горлом хлынувший плач Освенцима, Бесприютные слезы Треблинки.

Апрель, 1945

БОГОРОДИЦА

1

Гремели уже на булыжнике Немецкие танки вдали. Уже фарисеи и книжники Почетные грамоты жгли. В то утро скончался Иосиф, Счастливец, ушел в тишину, На муки жестокие бросив Рожавшую в муках жену.

2

Еще их, зверея, не предали, Зверея, балдея с утра, Еще даже имени не дали Ребенку того столяра, Душа еще реяла где-то Умершего сына земли, Когда за слободкою в гетто Вдову и дитя увели.

Глазами недвижными нелюди Смотрели на тысячи лиц. Недвижны глаза и у челяди — Единое племя убийц. Свежа еще мужа могила, И гибель стоит за углом, А мать мальчугана кормила Сладчайшим своим молоком.

4

Земное осело, отсеялось, Но были земные дела. Уже ни на что не надеялась, А все же чего-то ждала. Ждала, чтобы вырос он, милый, Пошел бы, сначала ползком, И мать мальчугана кормила Сладчайшим своим молоком.

5

И яму их вырыть заставили, И лечь в этом глиняном рву, И нелюди дула направили В дитя, в молодую вдову. Мертвящая черная сила Уже ликовала кругом, А мать мальчугана кормила Сладчайшим своим молоком.

Не стала иконой прославленной, Свалилась на глиняный прах, И мальчик упал, окровавленный, С ее молоком на губах. Еще не нуждаясь в спасеньи, Солдаты в казарму пошли, Но так началось воскресенье Людей, и любви, и земли.

СОСНЫ

На сосны я смотрел с террасы, На то, на это деревцо. Они, как люди чуждой расы, Все были на одно лицо.

Но длился труд мой плодоносный, Свой свет на все он излучал, И начал различать я сосны, Как я калмыков различал.

У этой рост красив и долог, У той опоры нет в земле. От веток ломких, от иголок Не схожи тени на стволе.

Вон та горда своим убором, Но так недуг ее тяжел, Что планочкой пришлось с забором Соединить непрочный ствол. Ее жалеют: не жилица, Слабее всех она в саду, Лишь ночью тихо золотится, Вонзаясь иглами в звезду.

Вон та не даст расти клубнике, Ее невинный облик — ложь. О той расскажешь только в книге, Об этой — в песне запоешь.

Нет безразличия былого, Я новых нахожу друзей, И отзывается, как слово, Их робкий шум в душе моей.

1951

На свежем норчевье

В ЭКИПАЖЕ

Ветерок обдувает листву, Зеленеет, робея, трава. Мирно спят поросята в хлеву. Парни рубят и колют дрова. Над хозяйством большим экипажа Рвется дождика тонкая пряжа.

Словно блудные дети земли, У причалов стоят корабли. Тихо. Изредка склянки пробьют, Огородницы песню споют. К сердцу берег прижал молчаливо Потемневшую воду залива.

Край полуночный робко цветет, Да и где ему смелости взять! Только речь о себе заведет, И не смеет себя досказать. Вот и песня замолкла сквозь слезы. Низко-низко летят бомбовозы. Женский голос, красивый, грудной, В тишине продолжает скорбеть. Кто сказал, будто птице одной Суждено так бессмысленно петь, Так бессмысленно, так заунывно, Так таинственно, так безотзывно.

Август, 1941 Кронштадт

ИГРОКИ

Мы шли на рижской шхуне в Петергоф С пакетами из арсенальных складов. Обозначался контур берегов Ракетами, разрывами снарядов.

На палубе так сыро, так темно. В нагретый кубрик мы спустились в гости. С матросами играли в домино, И смерть заглядывала в наши кости.

Как мы ее ни гнали из игры, А все ж не отвязались от партнерши С ее улыбкой маленькой сестры, — Улыбки этой не знавал я горше.

Она играла глупо, наугад, Не зная чисел, путаясь, робея. Пойдет сплошной пустышкой невпопад — И медлит, взять назад ее не смея. Игра сначала забавляла нас, — Мол, не забыть вовеки этой ночки! Потом — усталость да и поздний час — Мы стали засыпать поодиночке.

Лишь я не сплю и вижу светлый день. 1941 Петергоф

KASAYKA

Сверкает крыша школы, как наждак. Облиты месяцем арбузы в травке. Подобно самолету при заправке, Дрожит большими крыльями ветряк.

Шитье отбросив (на столе — булавки), То в зеркало глядит, то в полумрак. Далёко, под Воронежем, казак. Убит или в больнице на поправке?

Давно нет писем. Комиссар, чудак, Бормочет что-то о плохой доставке. Он пристает — и неумело так.

Вошла свекровь. Ее глаза — пиявки. О, помоги же, месяц в небесах, Любить, забыться, изойти в слезах!

Июль, 1942 Ажинов

НА СВЕЖЕМ КОРЧЕВЬЕ

Равнодушье к печатным страницам И вражда к рупорам. Сколько дней маршируем по бабьим станицам! Жадный смех по ночам и тоска по утрам.

День проходит за днем, как в тумане. Немец в небе гудит. Так до самой Тамани, до самой Тамани, А земля, как назло, неустанно родит.

Я впервые почувствовал муку Краснозвездных крестьян. Близко-близко хлеба, протяни только руку, Но колосья бесплотны, как сон, как дурман.

Веет зной в запыленные лица, Костенеет язык. Озираюсь, — один лишь пастух не томится — В шароварах цветных узкоглазый калмык. Дремлет в роще, на свежем корчевье. Мысли? Мысли мертвы. Что чужбина ему? Ведь земля — для кочевья, Всюду стойбище, было б немного травы.

Июль, 1942 Ажинов

ПЕРВОЕ ЗАБВЕНЬЕ

Благословенны битва И неправые труды, Затоптанные жнитва И кровавые следы,

В побитых рощах птицы И пахучая смола, Смятённые станицы И летучая зола,

И эскадрон, случайно Обескровленный вчера, И стук в окошко тайный И условленный с утра,

И те, под влагой страстной, Окаянные глаза, Язычницы прекрасной Покаянная слеза, И тополя волненье В рассветающем саду, И первое забвенье В исцеляющем бреду.

1943 Горная Балаклея

ГОРОДОК

Молодой городок. Лебеда и песок И уродливые дома. Ни прохлады, ни цвета. Суховейное лето. Отвратительная зима.

Я тебя навещал, Приезжать обещал, Признаюсь, не очень любя. Отчего же, угрюмый, Ты вошел в мои думы И забыть мне трудно тебя?

А какой в тебе прок — Самому невдомек! Не забыл тебя ради той — Смуглолицей, учтивой, Узкоглазой, красивой? Пропади она с красотой!

Ради милых друзей? Ради песни моей? Чепуха, суета, обман! Я друзей не взлелеял, Ветер песню развеял, Словно легкий, слабый дурман.

Ради трудных годов? Ради чистых трудов? Я не их на помощь зову. Тут причина другая, И, ее постигая, Вижу: август зажег траву.

И один пешеход Перед взором встает. Он идет, не зная куда. Невысокий, несмелый, На траве обгорелой Озирается иногда.

Справа — светлый простор. Слева — серый бугор. На бугре ликует базар. Женский смех, разговоры И веселые шпоры Кривоногих, шумных мадьяр.

Ослабел он в пути, А не смеет войти В городок, где шпоры звенят, Где его не забыли... Побелевший от пыли, Он пойдет назад, наугад.

Край родной, край родной, В этой шири степной Сохрани его, защити! Чтоб чужого не встретил, Чтоб и сам не заметил, Как сумел он к своим дойти!

Как с надеждой к своим Он пришел невредим, Как в душе сберег навсегда Городок нелюбимый, Где суровые зимы, Суховей, песок, лебеда.

Июль, 1944

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

Войдем в поселок Черный Рынок. Угрюм и колок Блеск песчинок. Лег синий полог На суглинок.

Войдем в поселок Тот рыбачий. И сух и долог День горячий. Слова — как щелок, Не иначе!

Бегут в ухабы Жерди, клети. Разбиты, слабы, Сохнут сети.

Худые бабы. Злые дети.

Не вынес Каспий Этой доли. Отпрянул Каспий К дикой воле. Вдыхает Каспий Запах соли.

Воскликнем, вторя Пьяным трелям:
— О холод моря По неделям, О битва горя С горьким хмелем!

О патефоны
Без пластинок,
О день твой сонный
Без новинок,
Изнеможденный
Черный Рынок!

Пришел сюда я Поневоле, Еще не зная Крупной соли Сухого края, Чуждой боли.

Не вынес Каспий Этой доли.

Седеет Каспий В диком поле. Вдыхает Каспий Запах воли. Июль, 1944

СТЕПЬ

Рассназ сослуживца

Кони, золотисто-рыжие, одномастные кони, Никогда я не думал, что столько на свете коней! Племя мирных коров, кочевая бычья держава, Шириною в сутки езды, длиною в сутки езды. Овцы, курдючные жирные овцы, овцы-цигейки, Множество с глазами разумного горя глупых овец. Впрямь они глупые! Услышат в нашей бричке шуршанье,

Думают — это ведро, думают — это вода, Окровавлёнными мордочками тычутся в бричку. Ярость робких животных — это ужасней всего.

Пятый день мы бежим от врага безводною степью, Мимо жалобных ржаний умирающих жеребят, Мимо еще неумелых блеяний ягнят-сироток, Мимо давно не доенных, мимо безумных коров. Иногда с арбы сердобольная спрыгнет казачка, Воспаленное вымя тронет шершавой рукой, И молоко прольется на соленую, серую глину, Долго не впитываясь...

Пересохли губы мои, немытое тело ноет. Правда, враг позади. Но, может быть, враг впереди? Я потерял свою часть в жестоком, быстром бою, И все мое существо охвачено степью, Беспредельной, словно отчаянье, и отчаяньем Беспредельным, как степь.

Никогда я не знал, что может, как море, шуметь ковыль, Никогда я не знал, что на небе, как на буддийской

иконе, Солнечный круг и лунный круг одновременно горят. Никогда я не знал, что можно быть себялюбцем: Брата, сестру, и жену, и детей, и мать позабыть. Никогда я не знал, что сурово могущество степи: Только одна белена, только одна лебеда, Только и слышен малопонятный язык Белоголового ковыля.

Может быть, в хутор Крапивин приеду я ввечеру. Неужели там немцы? Там проживает моя знакомая, Таля-казачка. Воду согреет. Вздыхая, мужнино выдаст белье. Утром проснется раньше меня. Вздыхая, посмотрит И, наглядевшись, пойдет к деревянному круглому дому.

Алые губы, вздрагивающие алые губы, Алые губы, не раз мои целовавшие руки, Алые губы, благодарно шептавшие мне:

«Желанный», —

Будут иное шептать станичному атаману

И назовут мое отчество... А! Не все ли равно мне — днем раньше погибнуть, днем позже,

Даже порою мне кажется: жизнь я прожил давно, И теперь лишь одно мне осталось — Понять язык белены, язык лебеды, Горькое, смутное слово Белоголового ковыля.

1943

В БИНОКЛЕ

Этот немец в бинокле возник. Приближался к реке. Позади шла старуха, неся полотенце, ведерко и мыло. Офицер. Туфли на босу ногу. Совсем налегке, — Будто мирное время здесь было.

Снял рубашку и френч. Не жалела старуха воды. Он подставил ей голову, крикнул ей что-то, быть может: — Живее! — И пропал: опустился бинокль. И тогда за труды Взялся наш командир. Но правее. . .

Если можно сказать, что похожа земля на ладонь, То видны были танки немецкие как на ладони песчаной. Дальномерщик сказал: — Меньше два, право десять. Огонь! —

И огонь корабельный, нежданный

Налетел, в деревах загудел, заблестел синевой. Разом выросли взрывы, подобные розам планеты погибшей. Танки мухами нам показались в тиши неживой, — Черной стаей, к бумаге прилипшей.

— А, видал? Тридцать штук раздавил! — прохрипел командир. — Погляди: вон старуха с ведром, рядом с нею лежит офицерик — Он мне душу обжег! — Кроткий, солпечный, огненный мир Обнял Волгу, и редкую рощу, и берег.

1942 Сталинград

ЗАПЕВКА

По мотивам горских песек

- Что плохого нашел ты в старухе седой?
- Из пяти сыновей одного полюбила.
- Что плохого нашел ты в кобыле гнедой?
- Седока из кольца не спасла, погубила.
- Что плохого нашел ты в звезде над водой?
- Освещала дорогу, к врагам выводила.
- Но чего не простил ты старухе седой?
- Отказала в приюте и в дом не впустила.

Но скажи мне, виновна ль старуха седая, Что хорош лишь один из ее сыновей? Но скажи мне, виновна ль кобыла гнедая, Что снарядом отрезало голову ей? Но скажи мне, виновна ль звезда золотая, Что светить в эту ночь не сумела тусклей? И подумай, виновна ль старуха седая, Что погиб ее младший от пули твоей?

1944

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

Правый берег. Вот он, перед нами. Посмотри внимательней и пристальней. Эти груды были кораблями. Этот лес носил окраску пристани.

Странные, горящие туманы. Зданья стали деревом, а дерево Превратилось в хаос первозданный. Правый берег. Не узнать теперь его.

Пахнет мертвой рыбой, гарью, дымом. Смерть. Но можно жить, а посчастливится—И остаться можно невредимым: Так война решает, прозорливица.

Моряки подходят к Сталинграду, Те, которых мы зовем — трамвайщики. Нет, не к берегу — к огню и чаду Наскоро пришвартовались тральщики! — Кончились билеты! — шутит кто-то. Поливаемая автоматами, С корабля на бой пошла пехота Мостовыми, пламенем объятыми.

На спардеке — старшина, сигнальщик. Он не сводит с неба глаза карего. Взяли раненых. Отчалил тральщик, Словно искру отнесло от зарева.

1942 Сталинград

ПАВЛИНКА

Рассвет разгорячается в поселке. Одноэтажных домиков порядки— В осеннем, светлом, паутинном шелке. Подобно ранней хлопотливой пчелке, Павлинка быстро обегает грядки.

Все разворовано! А помидоры Стащила, верно, старая гадалка. Она сулила мир — веселый, скорый, С красивым, милым мужем разговоры... Не овощей — цыганской правды жалко.

1943 Сарепта

ВЕЧЕР

О, вечер волжских посадов, О, горний берег и дольний, Мучных и картофельных складов Ослепшие колокольни!

Языческий хмель заплачек, Субботние пыльные пляски, Худых, высоких рыбачек Бесстыжие, грустные ласки.

Плавучие цехи завода, Далекая ругань, а рядом— Вот эти огни парохода, Подобные чистым Плеядам.

1943 Енотаевск

ПОЦЕЛУЙ

Лесных цветов счастливый Утренний плач. Уют неприхотливый Брошенных дач. Все прелести штабной картины, Столы, столы... Гул повторяют орудийный Деревьев грубые стволы.

Владельцы этих зданий Где-то в бегах, В Сибири, в Туркестане, В камских снегах. Они здесь жили как пришельцы, Ушли в тылы, А настоящие владельцы — Деревьев грубые стволы.

Хотя б от них остался Запах иль цвет! Хотя бы вздох раздался Чей-нибудь вслед! Ушли, как ночь уходит в воду, Как тени мглы, И равнодушны к их уходу Деревьев грубые стволы.

Здесь верить не умели, Веря, страдать, Смеяться в дни веселий, В скорби рыдать, Здесь ели много, пили много, Боясь хулы. Но кто ж хранил дыханье бога? Деревьев грубые стволы!

Отдел оперативный Ходит волчком.
— Что делаешь, противный, Люди кругом! — Целует Верочка майора Гасан-Оглы.
Их тайну выболтают скоро Деревьев грубые стволы.

И пусть мы негодуем, Шутим, ворчим, Но этим поцелуем, Быстрым, смешным, Облагорожен гул горячий И дух золы, И эти брошенные дачи, И эти грубые стволы.

Сентябрь, 1944

ДВА ЗЕРКАЛА

1

Лицо так странно молодеет в пудре, Усы, в щипцах, скрутились так отважно, Над низким лбом, седея, вьются кудри, Глаза темнеют выпукло и влажно.

Украшен голой нимфой набалдашник, А галстук — слишком крупным бриллиантом. О, неужели, мертвых однокашник, Ты начал франтом и закончишь франтом?

О, неужели острая тревога В холодном утре, в снежной вьюге тыла, Хотя б на краткий миг, хотя б цемного В твоей душе бесплодной не заныла?

О, неужели муки эшелона, Страх за себя и горечь ожиданья Не занесли в твое сухое лоно Хотя б зерно прекрасного страданья? А рядом, в кресле, мальчик, тонкий, жалкий. Он только с поезда, он с поля битвы. Он чемодан оставил в раздевалке. Он задремал под мягкий шелест бритвы.

И не узнал он в той, что держит бритву, Недавних, мирных, детских лет подругу, Свое мечтание, свою молитву, Свою тоску и, может быть, супругу.

И не ее ли молит он присниться, Но не такою — с длинною косою? А у нее чуть-чуть дрожат ресницы, И краска не смывается слезою.

1944

СЧАСТЛИВЕЦ

Я мог бы валяться в ложбине степной, Завеянный прахом, засыпанный солью, Мертвец, озаренный последнею болью, Последней улыбкой, последней мечтой. Но вот — я живу. Я снова с тобой, Я один из немногих счастливцев.

Я мог бы сгореть за кирпичной стеной В какой-нибудь миром забытой Треблинке И сделаться туком в бесплодном суглинке, Иль смазочным маслом, иль просто золой. Но вот — я живу. Я снова с тобой, Я один из немногих счастливцев.

Я мог бы вернуться в свой город родной, Где пахнут акации туго и пряно, Где все незнакомо, и горько, и странно. Я мог бы... Но я не вернулся домой. Я только живу. Я снова с тобой, Я один из немногих счастливцев.

1945

Музыка земли

Есть прелесть горькая в моей судьбе: Сидеть с тобой, тоскуя по тебе.

Касаться рук, и догадаться вдруг, Что жажду я твоих коснуться рук.

И губы целовать, и тосковать По тем губам, что сладко целовать. 1936

АПРЕЛЬ

А здесь апрель. Забылась роща в плаче. На вербе выступил пушок цыплячий.

Опять земля являет облик свой, Покрытый прошлогоднею листвой.

Какая тишь, какое захолустье, Как странно выгнулось речное устье,

Пришли купаться ясени сюда, До пояса доходит им вода.

Там, в рощице, то синим, то зеленым Сукном одет затон, и над затоном

Топырит пальцы юная ольха. И, словно созданная для греха,

Выходит на террасу щебетунья, Цветущая полячка, хохотунья,

Чья бровь дугой, и ямки на щеках, И множество браслетов на руках,

И необдуманная прелесть глаз Уже не раз с ума сводили нас. . .

Бубни стихи, живи светлей и проще! Журчит река. Недвижен воздух рощи.

Всей грудью обновленный дышит прах. Но все это в меня вселяет страх.

Я вижу: на тепличное стекло Цветов дыханье смрадное легло.

Мне кажется: из-за речных коряг Невидимый вот-вот привстанет враг.

И черный грач, как будто без причины, То тут, то там садится на вершины,

И вниз летит, и что-то мне кричит, И вверх как бы в отчаянье летит,

Затем, что слушать здесь никто не хочет, Когда он горе близкое пророчит.

Так иногда, увидев тайный свет, Беспомощный, но истинный поэт

О зле грядущем нам напоминает, Но темных слов никто не понимает.

А вот еще ольха. Мне в этот миг Понятен хруст ее ветвей сухих:

Она своей седьмой весны боится! Она слепым предчувствием томится:

Страшит ее весенних дней набег, Ей милым стал больной, унылый снег,

И дерева младенческое горе Моей душой овладевает вскоре.

И даже та, чьи ямки на щеках, И множество браслетов на руках,

И необдуманная прелесть глаз Уже не раз с ума сводили нас,

Та, что сейчас своей красой летучей Нас обожгла, — она больна падучей,

И знаю: ночью будет нас пугать Улыбкой неестественной.

1937 Марьина Горка

СЧАСТЬЕ

Хорошо мне торчать в номерах бобылем, По казачьим станицам бродить, Называть молодое вино чихирем, Равнодушно торговок бранить.

Ах, у скряги земли столько спрятано мест, Но к сокровищам ключ я нашел. Это просто совсем: если жить надоест, — Взял под мышку портфель — и пошел.

Из аула в аул я шатаюсь, но так Забывают дорогу назад. Там арабскими кличками кличут собак, Над могилами жерди стоят.

Вот уже за спиною мечеть и погост, И долина блестит вдалеке. Полумесяцем там перекинулся мост, В безымянной колеблясь реке. Очевидно, река здесь недавно бежит, Изменила недавно русло.

Там, где раньше бежала, там щебень лежит, И каменья чисты, как стекло.

Долго странствовать буду. Когда же назад Я вернусь, не увижу реки:

Только россыпи щебня на солнце блестят, Только иверни да кругляки!

Оскверню ли я землю хулой иль хвалой? Постою, погляжу и пойду.

За скалой многоуглой, за каменной мглой Безымянной рекой пропаду.

1938 Гудермес

ЗАВОД В ЛЕСУ

Был берег окских вод В глухой тоске: воочью Увидеть небосвод, Сияющий Приочью

Всем блеском синевы, — Не мог он: грустный жребий! Сквозь плотный мрак листвы Что ведал он о небе?

Но по стволам топор Ударил. Зверем прянул, Назад подавшись, бор. А берег наверх глянул:

Вот небо. Нет ни звезд, Ни тучек беззаботных: Огромный лисий хвост Из окислов азотных! И лес вокруг себя Угрюмо землю смерил, Вздохнул, уже любя, И принял. И поверил.

И птиц приветил вновь, Не споря с комбинатом: Он и к нему любовь Сумел внушить пернатым.

Когда же небосклон Подернут кислотою, Смолкает лес, сражен Небесной красотою,

И чувствует народ В напевах соловьиных Дыхание кислот, Опасных и невинных.

1936 Черноречье

НОЧЬ В СТАРОМ ГОРОДЕ

Безбровая толстуха в джазе стонет, Бьет в барабан и показать пытается, Когда поет, что вскидывает бровь. И дым, и шум. В дыму и шуме тонет Единственный хлопок ее сожителя: Платить любовью надо за любовь.

А перед окнами толпятся пары, Завидуют чему-то, что-то слушают. Как жаль мне этих модниц и нерях! Исчез в пучине ночи город старый, Но в окна веет он воспоминанием О войнах, вертоградах и царях.

Поверю ли, что здесь бегут арыки, Что по ночам ведут беседу тополи На позабытом хищном языке, — Сливаются предбитвенные клики С обрывками молитвенного шепота, С тележным скрипом где-то вдалеке. О, говори, зачем ты дал мне душу, Причастную великому борению, Способную прекрасное понять, Дал мне ладью — и выплеснул на сушу, Где музыка, толпа и одиночество, Где голову не должен я поднять.

Maŭ, 1941

Всюду свет, и толпа разлилась, как вода. Все напрасно, мне счастья не знать никогда.

И напрасно ты целый мне мир принесла, Где прекрасно добро и не ведают зла,

Этот мир — мой эдем, мой исполненный сон... Чтобы в щебень его превратить, я рожден,

А потом созидать ненавистный, другой, Где разрушенный стал бы заветной мечтой. 1938

В ТОЛПЕ

Здесь, в городе большом, Где жизнь бежит широко, Но, как в краю глухом, Мертва и одинока,

В торговый, шумный час, В толпе, за разговором, Что наполняет нас Житейским, дельным вздором, —

Сверкнула мне гроза Любви моей незрячей, И я узнал глаза Под влагою горячей.

Прошли передо мной Восторги, неудачи, Гражданскою войной Разрушенные дачи,

Свиданье, темный двор Среди полуразвалин, Я снова то хитер, То элобен, то печален.

Я трепетно притих, Люблю и ненавижу, И, кроме глаз больших, Я ничего не вижу,

Слезами полных глаз, Горящих верой зыбкой, Где все же сбереглась Улыбка — не улыбка...

И вдруг открылось мне, Что не сломить ей козней, Что дело не во мне, Что дело посерьезней,

А звезды, ночь, обрыв И знать не знали горя, И ясен был призыв Невидимого моря.

1935

OKHO

На тихой набережной, за мостом, Стоит старинный полукруглый дом.

Там люди разные теперь живут, Обои в окнах разные цветут.

Одно окно погасло. В том окне Мелькнула та, что всех дороже мне.

Ну что же, надо ставни запирать, Не в духе муж, пора стелить кровать.

Но я, чего же медлю я, чего? Как ждет она призыва моего!

Где камень? Пусть окно задребезжит! Где голос? Кликну — мигом прибежит.

Но камень разучилась брать рука, Ладонь для камня чересчур мягка, Но голос мой давно кричать отвык, Давно мой грешный приручен язык.

А старый дом не знает ничего, И скоро, говорят, снесут его. 1940

МУЗЫКА ЗЕМЛИ

Я не люблю ни опер, ни симфоний, Ни прочих композиторских созданий. Так первого столетья христиане, Узнав, что светит свет потусторонний, Что бог нерукотворен и всемирен, Бежали грубых капищ и кумирен.

Нет, по душе мне музыка иная. В горах свое движенье начиная, Сперва заплачка плещется речная, Потом запевка зыблется лесная, И тихо дума шелестит степная, В песках, в стозвонном зное исчезая.

Живем, ее не слыша и не зная, Но вдруг, в одну волшебную минуту, В душе подняв спасительную смуту, Нам эта песнь откроется земная. Бежим за нею следом, чтоб навеки Исчезнуть, словно высохшие реки.

1947

У РУЧЬЯ

От платформы, от шума, от грубых гудков паровоза В получасе ходьбы,

В тайнике у ручья уцелела случайно береза От всеобщей судьбы.

Оттого ли, что корни пустила в неведомый глазу Небольшой островок,

Но дыхание горя еще не ложилось ни разу На блестящий листок.

Каждый лист ее счастлив, зеленый, веселый, певучий,

Кое-где золотой,

Только ветви ее, только белые ветви плакучи И шумят над водой.

От нее, от блаженной, на вас не повеет участьем, Ей недуг незнаком,

Только вся она светится полным, осмысленным счастьем,

Не отравленным злом.

Я, узнав, полюбил простодушное это величье, Самобытный покой, Этот сказочный свет и младенческое безразличье К скучной скорби людской,

Этот взлет к небесам, этот рост белоствольный, могучий,

Чистоту, забытье...

Полюбил, а понять не сумел: отчего же плакучи Ветви, ветви ее?

1946

В РЕСТОРАНЧИКЕ

Нищие московские кутилы Завернули в ресторанчик милый,

Чтоб заботы утопить в вине Даже по коммерческой цене.

Первый, этой выпивки виновник, Был высокий маленький чиновник.

А второй — беззуб и косолап, Перед властью трепетен и слаб.

Многословен, и смешлив, и громок, Третий Гарпагона был потомок,

И стонала от него семья. А четвертый был, признаться, я.

Так сидели мы и крепко пили, Но заботы мы не утопили. Утопили мы себя самих, Увидали мы в себе других:

Сильных, смелых, вдохновенных, страстных, Отрочески чистых и прекрасных, —

Не затем, что выпили вина, Тут была красавицы вина,

Той, что улыбалась нам глазами, Божьими огромными слезами.

И такая гордость в них жила, Так меня их жалость обожгла,

Что невольно я поверил чуду: Я совсем иным отныне буду.

Апрель, 1945

ВОЖАТЫЙ КАРАВАНА

Подражание Саади

Звонков заливистых тревога заныла слишком рано, — Повремени еще немного, вожатый каравана!

Летит обугленное сердце за той, кто в паланкине, А я кричу, и крик безумца— столп огненный в пустыне.

Из-за нее, из-за неверной, моя пылает рана, — Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

Ужель она не слышит зова? Не скажет мне ни слова? А впрочем, если скажет слово, она обманет снова.

Зачем звенят звонки измены, звонки ее обмана? Останови своих верблюдов, вожатый каравана!

По-разному толкуют люди, о смерти рассуждая, Про то, как с телом расстается душа, душа живая.

Мне толки слушать надоело, мой день затмился ночью: Исход моей души из тела увидел я воочью!

Она и лживая — желанна, и разве это странно? Останови своих верблюдов, вожатый каравана! 1966

ЗВЕЗДА

Я слыхал, что в системах вселенной Есть такая ж, как наша, звезда. Силой техники, все еще пленной, Мы проникнуть не можем туда.

Только знаем: не то что подобна, А тождественна нашей во всем, Та звезда повторяет подробно Все, что здесь, на земле, мы найдем.

Тот же волк пожирает овечек, Те же муки, и счастье, и вздор, И такой же, как я, человечек Там вздыхает, куря «Беломор».

Так же душу смущает сиянье Загоревшихся маленьких звезд... До любимой его расстоянье— Ну не более тысячи верст.

Выйти из дому вдруг, без предлога, Сесть в вагон— велики ли труды? Только к ней не короче дорога, Чем до самой далекой звезды.

1955

СВИДАНИЕ

Когда я шел к тебе огромным черным садом, Раздвинув пыльную листву, Не думал я, что ты трепещешь где-то рядом, А думал я, что я живу,

Что я живу в листве, я слился с чудным краем, С его тревожной тишиной. Навстречу сторожам, собакам, и сараям, И вспышкам света за стеной, —

Иду, легко дышу прохладою предгорной, И нет прошедших лет и мук, И ты мне не нужна, а только этот черный Огромный сад, и в сердце стук...

Как ошибался я! Глупец не верит чуду, Но тот воистину дурак, Кто чуда не постиг... Вовеки не забуду Душистый азиатский мрак,

И вдруг я чувствую — от ночи отделилась, Едва мелькая по кустам, Сама душа моя, безумие и милость, — И жарко сделалось устам.

1947

У ГРОБА

В окруженьи траурных венков Он лежал, уже не постигая Ни цветов, ни медленных шагов, И не плакала жена седая.

Только к тесу крышки гробовой Ангелы угрюмо прикорнули Да оркестр трудился духовой И друзья томились в карауле.

Точно с первой горсточкой тепла Робкого еще рукопожатья, К мертвецу с букетом подошла Женщина в потертом сером платье.

Скрылась, поглощенная толпой, Что молчание хранила свято... А была когда-то молодой И любила мертвого когда-то. А какие он писал слова Существу, поблекшему уныло, Пусть узнает лишь его могила Да припомнит изредка вдова...

Если верить мудрецам индийским, Стану после смерти муравьем, Глиняным кувшином, лунным диском, Чьей-то мыслью, чьим-то забытьем,

Но к чему мне новое понятье, Если не увижу никогда Вот такую, в старом, сером платье, Что пришла к покойнику сюда.

Cmenная npumчa

HMEHA

Жестокого неба достигли сады, И звезды горели в листве, как плоды.

Баюкая Еву, дивился Адам Земным, незнакомым, невзрачным садам.

Когда же на небе плоды отцвели И Ева увидела утро земли,

Узнал он, что заспаны щеки ее, Что морщится лоб невысокий ее,

Улыбка вины умягчила уста, Коса золотая не очень густа,

Не так уже круглая шея нежна, И мужу милей показалась жена.

А мальчики тоже проснулись в тени. Родительский рост перегнали они,

Проснулись, умылись водой ключевой, Той горней и дольней водой кочевой,

Смеясь, восхищались, что влага свежа, Умчались, друг друга за плечи держа.

Адам растянулся в душистой траве. Творилась работа в его голове.

А Ева у ивы над быстрым ключом Стояла, мечтая бог знает о чем.

Работа была для Адама трудна: Явленьям и тварям давал имена.

Сквозь темные листья просеялся день. Подумал Адам и сказал: — Это тень.

Услышал он леса воинственный гнев. Подумал Адам и сказал: — Это лев.

Не глядя глядела жена в небосклон. Подумал Адам и сказал: — Это сон.

Стал звучным и трепетным голос ветвей. Подумал Адам и сказал: — Соловей.

Незримой стопой придавилась вода — И ветер был назван впервые тогда.

А братьев все дальше дорога вела. Вот место, где буря недавно была.

Расколотый камень пред ними возник, Под камнем томился безгласный тростник.

Но скважину Авель продул в тростнике, И тот на печальном запел языке,

А Каин из камня топор смастерил, О камень его лезвиё заострил.

Мы братьев покинем, к Адаму пойдем. Он занят все тем же тяжелым трудом.

— Зачем это нужно, — вздыхает жена, — Явленьям и тварям давать имена?

Мне страшно, когда именуют предмет! — Адам ничего не промолвил в ответ:

Он важно за солнечным шаром следил. А шар за вершины дерев заходил,

Краснея, как кровь, пламенея, как жар, Как будто вобрал в себя солнечный шар

Всё красное мира, всю ярость земли, — И скрылся. И, медленно зрея вдали,

Всеобщая ночь приближалась к садам. — Вот смерть, — не сказал, а подумал Адам.

И только подумал, едва произнес, Над Авелем Каин топор свой занес. 1943

У РАЗВАЛИН ЛИВОНСКОГО ЗАМКА

Быстро по залу ливонского замка Старый епископ шагал. — Смерть божества — это смерть моей смерти, —

Он по привычке шептал. Звенели кольчуги. Борзые и слуги Наполнили сумрачный зал.

Рыцарей смяло славянское войско, Бросить заставив щиты. Всюду валялось оружье с гербами — Грифы, олени, кресты. Измучились кони. Под ветром погони, Поникнув, дрожали кусты.

Крикнул епископ: — Не бойтесь осады, Наша твердыня крепка. Знаменьем крестным ее осенила Архистратига рука. Гранитные своды,

Подземные ходы Останутся здесь на века!

Ядра вонзались в могучие стены, Блеском смертельным блестя. Рыцари в латах своих задыхались, Камни к бойницам катя, И падали с бащен. И кровью окрашен, Шиповник расцвел, не цветя.

Вот и остались от замка руины И ничего — от владык. Плесень забила подземные ходы, В камне — паук крестовик, И только безвестный Шиповник прелестный Под гнетом веков не поник.

Так же цветет на родном моем юге, Сушится в душной избе, Пахнет в ауле, где сакли пустые, Дым не идет по трубе, Калмыцким курганом Иль рижским органом Он миру твердит о себе:

— О, сколько прошло их, ужасно их сходство, Желавших богатства, искавших господства, Грозивших мечом и огнем! Невнятно им было,

Что главная сила Сокрыта в цветенье моем.

Для многих я был незаметен вначале, Когда же меня свысока замечали, То выжечь пытались мой цвет, Копытом глушили, В газовне душили, Но вновь я рождался на свет.

Не в зданьях высотных, не в замках бессчетных, Не в пышных гербах главарей мимолетных Читаются знаки судьбы. Челнок, и мотыга, И парус, и книга — Мои вековые гербы.

Колючками слабо дано уколоть мне, Но розами горе дано побороть мне, Свою раздарив красоту, И там я сильнее, Где розы нежнее, Где алые розы в цвету.

из восточной рукописи

Был я тем, кто жил в долине роз, В глинобитном домике простом. Видел я: рассыпал перлы слез Соловей над розовым кустом.

Так я начал петь. Я находил Торные пути к людским сердцам, В башни звездочетов я входил, И в кинохранилище, и в храм.

Говорил я то, что нужно всем: Славил обольстительную страсть, Открывал невольникам эдем И клеймил неправедную власть.

Утверждал, что нет небесных чар В четверице изначальных сил, Что, смеясь, вселенную гончар Из непрочной глины сотворил.

И хотя по-прежнему закон Лживым был и был бессильным раб, Был я редким счастьем награжден, Что мой голос нежен и не слаб.

Помню вечер. Терпкое тепло Оседало. Дольний мир погас. И до слуха моего дошло: Некий царь идет войной на нас.

Облик ветра на его стреле. Брызжет смертью сабли рукоять. Мало знаков чисел на земле, Чтоб его дружины сосчитать.

Помню битву горожан с ордой. Щебнем стали храмы, ливнем — кровь. Стала дочь моя совсем седой, Мать моя ребенком стала вновь.

И вошел в мой город властелин, И рассек мой город лезвием, И разбился глиняный кувщин В глинобитном домике моем.

И потомки тех, кто пал в борьбе, Превратились в диких пастухов, И поет кочевник на арбе Странные куски моих стихов.

Непонятны древние слова, Что курганы в поле вековом, Но в сознаньи теплится едва Память о величии былом.

Вот он возвращается домой. Рядом с буйволом бредет жена. От земли отделена каймой Близкая, степная вышина.

Запрокинул голову, поет, Полусонно смотрит в синеву, И не знает сам, что создает Смутный мир, в котором я живу.

Ноябрь, 1941

ПОДРАЖАНИЕ КОРАНУ ГЛАВА ХСІХ

Не упаду на горы и поля Ни солнцем теплым, ни дождем весенним: Ты сотрясешься, твердая земля, Тебе обетованным сотрясеньем.

Ты мертвецов извергнешь из могил, Разверзнутся блистательные недра. Твой скорбный прах сокровища таил, И ты раздашь их правильно и щедро.

Узнает мир о друге и враге, О помыслах узнает и поступках Закоченевших в тундре и в тайге, Задушенных в печах и в душегубках.

Один воскликнет нагло и хитро:

— Да, сотворил я зло, но весом с атом! — Другой же скажет с видом виноватым:

— Я весом с атом сотворил добро.

Март, 1955

ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Захотел повидать Дармограй Божий мир, беспредельный, обильный, И, в далекий отправившись край, Взял с собою он камень точильный.

Думал: «Если достаток нажить Не удастся мне в том Туркестане, Буду пахарям косы точить, Голодать не дадут мне крестьяне».

Шел он пеший, лежал на возу, Что-то пел он о царстве заморском, Под Самарой встречал он грозу, И закат провожал он за Орском.

Он услышал, придя на Тянь-Шань, Рев скота на пути к Семиречью И старинную русскую брань, Обновленную чуждою речью.

Поглядел Дармограй — обомлел: На горячей равнине ковыльной Осыпался, шуршал и белел Наш песчаник, наш камень точильный!

Дармограй рухнул наземь доской, На свое рассердившись хохлацтво, Зарыдал и воскликнул с тоской:

— Жив не буду — добуду богатство!

То ль богатство таил Туркестан, То ль судьбу испугал этот вызов, То ль помог Дармограю обман, — А добыл он земли от киргизов.

Дом построил. Хозяйство завел. Посадил и вишневый садочек. Уж поглядывать начал хохол На кацапских зажиточных дочек.

Там, где кони Чингиза паслись На ковыльных седеющих волнах, Ныне жирные куры неслись И покорно вертелся подсолнух.

Но судьба держит чаши весов, И не любит она измененья. Что ей ропот людских голосов? Что ей дольних страстей дуновенья?

На село напустила орду, Выпрямляя плечо коромысла, И без тела, на вишне, в саду Голова Дармограя повисла.

И, травы сокращая предел, Против жгучего ветра бессильный, Осыпался, шуршал и белел Наш песчаник, наш камень точильный.

Май, 1946 Пржевальск

НОЧЬ В БУХАРЕ

На дворе Заготшерсти — дремота. В глинобитном пустом гараже Смуглый сторож сладчайшее что-то Говорит существу в парандже.

Как сманил он из дома соседку, Почему она мелко дрожит, Сквозь густую и грубую сетку Не глядит на него и молчит?

Всеми звездами полночь нависла, Между древних сочась куполов. Он поет, — в этой песне три смысла В неизменном движении слов.

«Одного лишь хочу я на свете, — Озариться небесным лицом, Удаляясь под своды мечети, Насладиться беседой с творцом». Загудела внезапно трехтонка. Что, свернула? Страшись, паранджа! Смысл второй открывается тонко, И она ему внемлет, дрожа:

«Ты одна лишь нужна мне на свете, Ты мой светоч, божественный лик. Эти брови — как своды мечети, Сотворила любовь твой язык!»

И становится сразу теплее, Будто слушают вместе со мной Медресе, купола, мавзолеи Те слова, что звенят за стеной.

Вновь машина гудит грузовая. Исчезает, как дух, паранджа. Смуглый сторож, притворно зевая, С лампой встал у ворот гаража.

Не пойму, да и думать не надо, Почему убежала она... Дышит звездного неба громада, Блещет ночь, и душна и грозна.

Я брожу, слышу лепет порою То листвы, то воды, то людей. Может быть, я сегодня открою Третий смысл, не досказанный ей.

Апрель, 1952

СТЕПНАЯ ПРИТЧА

Две недели я прожил у верблюдопаса. Ел консервы, пока нам хватило запаса,

А потом перешел на болтушку мучную, Но питаться, увы, приходилось вручную.

Нищета приводила меня в содроганье: Ни куска полотна, только шкуры бараньи,

Ни стола, ни тарелки, ни нитки сученой, Только черный чугунный казан закопченный.

Мой хозянн был старец, сухой и беззубый. Мне внимая, сердечком он складывал губы

И выщипывал редкой бородки седины. Пальцы были грязны, но изящны и длинны.

Он сказал мне с досадой, но с виду бесстрастно: — Свысока на меня ты глядишь, а напрасно.

Я родился двенадцатым сыном зайсанга, Я в Тибете бывал, доходил и до Ганга.

Если хочешь ты знать, то по тетке-меркитке Из Чингизовой мы происходим кибитки!

Падежей избегая, чуждаясь глаголов, Кое-как я спросил у потомка монголов:

— Отчего ж темнота, нищета и упадок? — Он сказал: — То одна из нетрудных загадок.

Я отвечу тебе, как велит наш обычай, Потускневшей в степи стародавнею притчей.

«Был однажды великий Чингиз на ловитве. Взял с собой он не только прославленных в битве,

Были те, кто и в книжной премудрости быстры, По теперешним званьям большие министры.

Соизволил спросить побеждавший мечом: — Наслаждение жизни, по-вашему, в чем?

Поклонился властителю Бен Джугутдин, Из кавказских евреев был тот господин.

Свежий, стройный, курчавый, в камзоле атласном, Он промолвил своим языком сладкогласным:

Наслаждение жизни — в познании жизни,
 А познание жизни — в желании жизни.

— Хорошо ты поешь, — отвечал Темучин, — Только пенье твое не для слуха мужчин.

Ты что скажешь, — спросил побеждавший мечом, — Наслаждение жизни, по-твоему, в чем?

Тут китаец оправил холеную косу И ответил, как будто он рад был вопросу:

- Наслаждение жизни в стремлении к смерти, А в стремлении к смерти — презрение к смерти.
- Говоришь ты пустое! воскликнул Чингиз. Ты что скажешь, бухарец? Омар, отзовись!

И ответил увидевший свет в Бухаре Знатный бек, — был он в золоте и в серебре:

— Наслаждение жизни — в покое и неге, В беспокойной любви и в суровом набеге,

В том, чтоб на руку взять синецветную птицу И охотиться в снежных горах на лисицу.

Молвил властный: — И этих я слов не приму. Видно, слово сказать надо мне самому.

Только тот, кто страны переходит рубеж, Подавляя свободу, отпор и мятеж,

Только тот, кто к победе ведет ненасытных, Заставляя стенать и вопить беззащитных,

Тот, кто губит ребенка, и птицу, и древо, Тот, кто любит беременным вспарывать чрево,

Кто еще не родившихся режет ножом, Разрушает настойчивый труд грабежом, —

Ненавистный чужбине и страшный отчизне, Только он познает наслаждение жизни!»

...Солнце медленно гасло над степью ковыльной. Мой хозяин добавил с усмешкой бессильной:

— Вот какой был порядок властителю сладок, Потому-то пришло его племя в упадок.

1949

ЧАБАН

Чабан, коня поставив на приколе, Заснул, не закрывая глаза карего. Две-три кибитки в диком чистом поле. Над полем небо, а на небе марево.

Здесь рядом насыпь свежая с курганом, С могилами бойцов — могилы схимников. Здесь пахнет сразу и речным туманом И горьким кизяком из темных дымников.

Здесь медленные движутся верблюды, Похожие на птиц глубокой древности, И низкорослы и широкогруды, Здесь люди полны странной задушевности.

Здесь, кажется, нет края серой глине. Пустыня. Суховей поднялся надолго, И побелели корешки полыни, И пылью красная покрылась таволга.

Пустынна степь, но за степною гранью Есть мир другой, есть новая вселенная! Вставай, беги, скачи к ее сверканью! Заснул чабан, заснула степь забвенная.

Не так ли дремлешь ты, душа людская, Сухая, черствая... Но вспыхнет зарево, И ты сверкнешь — прекрасная, другая, Таинственная, как степное марево.

Ереванская роза

ВЕЧЕР НА ЧЕГЕМЕ

Вот сидит пехотинец На почетной скамейке в кунацкой. Молодой кабардинец Возвратился со службы солдатской.

Просяную лепешку Он в густую приправу макает. Обо всем понемножку Он в семейном кругу вспоминает.

На дворе, у сапетки, Мать готовит цыпленка в сметане. Дом построили предки, — Есть об этом немало преданий.

На стене, где кремневка, — Память битвы за вольность Кавказа, Где желтеет циновка, Что нужна старику для намаза, — Карта, вроде плаката: План столичного города Вены. День дошел до заката,— Не погас разговор откровенный,

Разговор задушевный. Из чужих — здесь одни лишь соседи. И Чегем многогневный Принимает участье в беседе.

Он течет у порога, Как сказителя-старца поэма. Звуки властного рога В этом резком теченьи Чегема.

Равнодушный, бесслезный, Чуждый скорби и чуждый веселья, Вечер тихо и грозно, Как хозяин, вступает в ущелье.

1948 Чегемское ущелье

поэзия

Старые прописи не перелистывай, Новых на них не черти закавык, Жалко-расчетливой, мощно-неистовой Слушай толпы многозначный язык.

Ты повтори ее слово базарное, Хитрость безумцев и ум простаков. Так повторяет сиянье полярное Все очертанья земных берегов.

YTPO

Плавно сходят к морю ступени, По бокам их — изваянные вазы, Посередине — белый виноградарь, В руках его зеленые кисти. Чуть пониже — глиняные дети На концах бесформенных пальцев Держат глобус (или мяч футбольный), Еще ниже, вдоль берега, — рельсы, И когда товарные вагоны, Грубо грохоча, пробегают, Между ними, в странных очертаньях, Так волшебно волнуется море, И в куске, на мгновенье окаймленном Платформой, колесами, дымом, Бесстрашными кажутся чайки.

Поднимаешься в город — пахнет Жасминами, утренним чадом, И каспийский ветер не в силах Этот запах теплый развеять. Ты идешь на базарную площадь, Что лежит у подножья Кавказа.

Восковые кисточки липы, Коготки шиповника в палисадах. На прилавках — яблоки и книги. Вывески на нескольких наречьях, Голые руки сонных хозяек, Достающие из-за окон Вяленой баранины полоски, От хмеля веселые горцы В твердых трапециях черных бурок И папах из коричневой мерлушки. Вдалеке, за базарной пылью, Правильные линии кряжей, Параллельные буркам и папахам, — Все пронизано солнцем и ветром И незримой связано связью, Исполненной чудного смысла. Но обманчивого представленья. Что законы низменной жизни Мудро управляют вселенной, Что земле неизвестно горе, Что молодые не умирают, Что не слышишь ты приближенья Неизбежного грозного рока.

1950 Махачкала

ТОПОЛЯ В ГУНИБЕ

Ничего, кроме камня и славы, Не осталось от дней Шамиля. Ничего. Лишь одни тополя Сохранили их отсвет кровавый.

Я слыхал от людей: русский князь В знак победы велел посадить их. Высоко их семья поднялась, Но молчит о суровых событьях.

На вершине гранитных громад Ныне праздно зияют бойницы. Там виднеется зданье больницы, Рядом школа, при ней интернат.

А на площади сонные парни Ждут чего-то у входа в райком. Пахнет мясом, вином, чесноком, Кукурузным теплом из пекарни.

Что же смотрят на все тополя С выраженьем угрюмой обиды? Мнится мне: то стрелки Шамиля, То его боевые мюриды.

УЛИЦА ПЕЧАЛИ

Говорливый, безумный базар воробьев На деревьях — свидетелях давних боев, Вавилонская эта немая тоска Потемневшего известняка.

Эта улица, имя которой — Печаль, И степная за ней бесконечная даль. Тишина и тепло, лишь одни воробьи Выхваляют товары свои.

Да сидят у подвала с газетой старик И старуха, с которой болтать он привык, И смотрю я на них, и текут в забытьи Отрешенные слезы мои.

вильнюсское подворье

Ни вывесок не надо, ни фамилий. Я все без всяких надписей пойму. Мне камни говорят: «Они здесь жили, И плач о них не нужен никому». А жили, оказалось, по соседству С епископским готическим двором, И даже с ключарем — святым Петром, И были близки нищему шляхетству, И пан Исус, в потертом кунтуше, Порою плакал и об их душе.

Теперь их нет. В средневековом гетто Курчавых нет и длинноносых нет. И лишь в подворье университета, Под аркой, где распластан тусклый свет, Где склад конторской мебели, — нежданно Я вижу соплеменников моих, Недвижных, но оставшихся в живых, Изваянных Марию, Иоанна, Иосифа... И слышит древний двор Наш будничный, житейский разговор.

ЗАБЫТЫЕ ПОЭТЫ

Я читаю забытых поэтов. Почему же забыты они? Разве краски закатов, рассветов Ярче пишутся в новые дни?

Разве строки составлены лучше И пронзительней их череда? Разве терпкость нежданных созвучий Неизвестна была им тогда?

Было все: и восторг рифмованья, И летучая живость письма, И к живым и к усопшим взыванья, — Только не было, братцы, ума.

Я уйду вместе с ними, со всеми, С кем в одном находился числе... Говорят, нужен разум в эдеме, Но нужнее — на грешной земле.

дрозд

Заглушая грохот завода И гуденье грузовика, Низвергается с небосвода Полуварварская река.

Воин Ксеркса и Македонец Озирали ее валы, И доносится топот конниц Из былого, из дальней мглы.

Слышишь? Ярость движенья множит Громовержащая вода, А никак обогнать не может Песню маленького дрозда.

В простодушной своей гордыне Он, как видно, не сознает, Что он спорит с рекой в теснине, И не ведает, что поет

О сегодняшнем, о грядущем, — А река дрожит и с трудом Поспевает вслед за поющим, Эту дрожь внушившим дроздом.

ЧЕШСКИЙ ЛЕС

Готический, фольклорный чешский лес, Где чистые, пристойные тропинки Как бы ведут нас в детские картинки, В мануфактуры сказочных чудес.

Не зелень, а зеленое убранство, И в птичьих голосах так высока Холодная немецкая тоска И свищет грусть беспечного славянства.

Мне кажется, что разрослись кусты, О благоденствии людском заботясь, И все листы — как тысячи гипотез И тысячи свершений красоты.

Мальчишка в гольфах, бледненький, болезный, И бабка в прорезиненных штанах В своем лесу — как в четырех стенах... Пан доктор им сказал: «Грибы полезны».

Листву сомкнули старые стволы, Но расступился мрак — и заблестели Полупустые летние отели И белые скамейки и столы.

А там, где ниже лиственные своды, Где цепко, словно миф, живет трава, Мне виден памятник. На нем слова: «От граждан украшателю природы».

Шоссе, — я издали его узнал Сквозь стены буков, — смотрит в их проломы. «Да, не тайга», — заметил мой знакомый Из санатория «Imperial».

Веками украшали мы природу Свою — да и всего, что есть вокруг. Но стоит с колеи упорной вдруг Сойти десятилетью или году,

Успех моторизованной орды, — И чудный край становится тайгою, Травой уничтожаются глухою Возделанные нивы и сады.

И там, где предлагали продавщицы Пластмассовых оленей, где отель Белел в листве, — рычит, как зверь, метель И спят в логах брюхатые волчицы.

APAPAT

Когда с воздушного он спрыгнул корабля, Потом обретшего название ковчега, На почву жесткую по имени Земля И стал приискивать местечко для ночлега,

Внезапно понял он, что перед ним гора. С вечерней синевой она соприкасалась, Но так была легка, уступчива, щедра, Что сразу облаком и воздухом казалась.

Отец троих детей, он был еще не стар, Еще нездешними наполнен голосами. Удачливый беглец с планеты бедной Ар, На гору он смотрел печальными глазами.

Там, на планете Ар, еще вчера, вчера Такие ж горные вершины возвышались, Как небожители, что жаждали добра, Но к людям подойти вплотную не решались. Все уничтожено мертвящею грозой Тотальною! . . А здесь три девки с диким взглядом К трем сыновьям пришли с неведомой лозой: Ученый Хам назвал растенье виноградом.

А наверху олень и две его жены, Бестрепетно блестя недвижными рогами, Смотрели на него с отвесной вышины, Как бы союзника ища в борьбе с врагами,

Как бы в предвиденьи, что глубже и живей Мир поразят печаль, смятение и мука, Что станет сей корабль прообразом церквей, Что будут кланяться ему стрелки из лука...

Отцу противен был детей звериный срам, И словно к ангелам, невинным и крылатым, Он взоры обратил к возвышенным холмам, И в честь планеты Ар назвал он Араратом

Вершину чистую... А стойбище вдали Дышало дикостью и первобытным зноем. Три сына, повалив трех дочерей Земли, Смеялись заодно с Землей над ним, над Ноем.

EPEBAHCKAS PO3A

Ереванская роза
Мерным слогом воркует,
Гармонически плачет навзрыд.
Ереванская проза
Мастерит, и торгует,
И кричит, некрасиво кричит.

Ереванскую розу—
Вздох и целую фразу—
Понимаешь: настолько проста.
Ереванскую прозу
Понимаешь не сразу,
Потому что во всем разлита—

В старике, прищемившем Левантийские четки, Там, где брызги фонтана летят, В малыше, устремившем Свой пытливый и кроткий, Умудренный страданием взгляд,

Будто знался он с теми, Чья душа негасима, Кто в далеком исчез далеке, Будто где-то в эдеме Он встречал серафима С ереванскою розой в руке.

ШЕЛКОВИЦА

Как только в городской тиши Ко мне придет полубессонница, Ночная жизнь моей души, Как поезд, постепенно тронется.

И в полусне и полумгле Я жду, что поезд остановится На том дворе, на той земле, Где у окна росла шелковица.

Себя, быть может, обелю, Когда я объясню старением, Что это дерево люблю Лишь с детским, южным ударением.

Иные я узнал дворы, Сады, и площади, и пагоды, Но до сих пор во рту остры И пыльно-терпки эти ягоды. И злоба отошедших дней, Их споры, их разноголосица Еще больней, еще родней Ко мне — в окно мое — доносятся.

Назад, к началу, к той глуши, Где грозы будущего копятся, Ночная жизнь моей души Безостановочно торопится.

Мы связаны на всем пути, Как связаны слова пословицы, И никуда мне не уйти От запылившейся шелко́вицы.

УЛИЦА У КАНАЛА

«Импорт-экспорт». «Врач». «Ван Гутен». «Ткани»

«Амстердамско-Роттердамский банк»... И среди фамилий и названий — Буквы на дверях: «Дом Анны Франк».

Крепок дом, и комнаты неплохи. Снимки отблиставших кинозвезд. Апокалипсис моей эпохи, Как таблица умноженья, прост.

Звезды на стене, а ночь беззвездна И не смеет заглянуть сюда. Доченька, уснуть еще не поздно, Чтобы не проснуться никогда.

Увядает в роще елисейской Дерево познанья и добра, А на почве низменной, житейской, Начинается его пора. Нелегко свести с концом начало. Жизнь есть жизнь, и деньги любят счет. Вдоль дверей течет вода канала. Знает ли, куда она течет?

Рисунки на свежем воздухе

ПО ВЕСЕННИМ ПОЛЯМ

Теплый свет, зимний хлам, снег с водой пополам, Солнце-прачка склонилось над балкой-корытом. Мы поедем с тобой по весенним полям, По весенним полям, по весенним полям, По дорогам размытым.

Наш конек седогривый по кличке Мизгирь Так хорош, будто мчался на нем богатырь. Дорогая, не трудно ль на старой телеге? Узнаешь эту легкую русскую ширь, Где прошли печенеги?

Удивительно чист — в проводах — небосклон, Тягачи приближаются с разных сторон, Грузовые машины в грязи заскучали. Мы поедем с тобой в запредельный район, Целиною печали.

Ты не думай о газовом смраде печей, О бессонной тревоге студеных ночей, — Хватит, хватит нам глухонемого раздумья!

Мы поедем в глубинку горячих речей, В заповедник безумья.

Нашей совести жгучей целительный срам Станет славой людской на судилище строгом. Мы поедем с тобой по весенним полям, По весенним полям, По размытым дорогам.

ДОБРО

Добро — болван, добро — икона, Кровавый жертвенник земли, Добро — тоска Лаокоона, И смерть змеи, и жизнь змеи.

Добро — ведро на коромысле И капля из того ведра, Добро — в тревожно-жгучей мысли, Что мало сделал ты добра.

ОЧЕВИДЕЦ

Ты понял, что распад сердец Страшней, чем расщепленный атом, Что невозможно наконец Коснеть в блаженстве глуповатом,

Что много пройдено дорог, Что нам нельзя остановиться, Когда растет уже пророк Из будничного очевидца.

Октябрь, 1960

РИСУНОК В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ

Не для того идет весна, чтоб заблудиться в соснах, Чтоб между ними постелить роскошные ковры: Кругом галактики горят растений светоносных, Могучих полевых цветов планеты и миры.

В первоначальной чистоте туманности речные Довавилонским словарем владеют до сих пор. На этой средней полосе земли моей, России, Я слышу трав и родников старинный разговор.

Поймите же, что каждый день становится началом И нам сулит, как первый день, грядущую грозу! В треухе, в роговых очках, в пальтишке обветшалом, Сидит старик, сидит, пасет печальную козу.

PHCYHOK B BATOHE

Яснеют законы добра В четвертом своем измереньи: Не завтра, а наше вчера Сегодня поймешь в озареньи.

У мальчика что-то в лице, Чем с миром прошедшим он связан. Себя не найдет он в отце, Но тот уже в нем предуказан.

А поезд в движеньи живом Шумит, приближаясь к платформе: Так мысль, чтобы стать существом, Спешит к предназначенной форме.

Август, 1960

РИСУНОК НА ГРЕЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ

И дворик и галерея Увиты пыльным плющом. Проститься бы поскорее, — О чем говорить, о чем?

Твой город в прежней одежде, Но сам ты не прежний нахал, Хотя и краснеет, как прежде, Седая мадам Феофал.

А там, на площади, людно, Таксисты дремлют в тени. Отсюда попасть нетрудно В Херсон, Измаил, Рени...

Зачем, неудачник, злишься? Иль вспомнить уже не рад, Какой была Василиса Лет тридцать тому назад?

Прокрадывалась в сарайчик — И дверь за собой на засов, И лишь электрический зайчик Выскакивал из пазов!

Угадывал ты, счастливый, Чуть стыдный ее смешок, А на губах — торопливый Горел, не стихал ожог.

Студентик в пору каникул, Не ты ли еще вчера В душе своей жалко чирикал О том, как ты жаждешь добра?

Как в омут потусторонний Смотрел ты, робкий смутьян, На жмеринковском перроне В сухие глаза крестьян.

Но жгучесть высокого неба, Но звезд золотой запас, Но дикая стоимость хлеба, Но боль вопрошающих глаз

Померкли пред этой искрой Во мраке южных ночей, Пред этой легкой и быстрой, Бездумной любовью твоей

С веселой, готовой пухнуть, Смуглою наготой, С тяжелой, готовой рухнуть, Греческой красотой.

В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Цыганка идет мостовою, Монистом чуть слышно бренчит, За пазухой что-то живое, В нечистом и пестром, молчит.

В глазах ее смесь любопытства И просьб, и нельзя побороть Того рокового бесстыдства, Что движет бродячую плоть.

Толпа разлилась городская, Текут демонстранты домой. В их речи невольно вникая, Проходит она стороной.

Сегодня гулянье, гулянка, Покой для натруженных рук. Заснуло дитя, и цыганка, Как девочка, смотрит вокруг. Неспешно, беспечно, бездумно Проходит она мостовой, А в парке настойчиво, шумно Играет оркестр духовой.

ЦВЕТЫ

Тени ночи над садом сгустились, Строго лампа горит на столбе, А цветы, а цветы распустились И с тобой говорят о тебе.

Разговора они не искали, Просто время такое пришло, Что невидимый труд химикалий Разгорелся до боли светло.

Пусть тебя не томит кружевная И нестойкая их белизна, — Только им твоя дума ночная, Беспощадная дума ясна.

Ты былое свое перероешь, С ними все, чем ты жил, разделив. Только им, только им ты откроешь, Почему ты всю ночь молчалив.

Август, 1959

СОЛОВЕЙ ПОЕТ

Соловей поет за рекой лесной, Он поет, — расстаются вдруг То ли брат с сестрой, то ли муж с женой, То ль с любовницей старый друг.

Поезда гудят на прямом бегу, И кукушки дрожит ку-ку, Дятлу хочется зашибить деньгу, Постолярничать на суку.

Ранний пар встает над гнилой водой, Над зеленой тайной болот. Умирает наш соловей седой, Умирая, поет, поет. . .

Май, 1960

В РОЩЕ

Синица, твой русский свист, Я знаю, звучит не праздно, Как узкий специалист, Ты дивно однообразна,

Но только тебе невдомек, Что песня твоя голубит Вот этот безвестный листок Породы «любит не любит».

Безвестный? Как бы не так! Быть может, соседним листьям Известен он как чудак И славится бескорыстьем?

Неужто всю жизнь воробей Бренчит для себя на гитаре И знать не знает друзей — Ромашек, иван-да-марий?

Неужто жители рощ Друг другу чужды от века И лишь обретают мощь, Сливаясь в душе человека?

Пусть эта душа узка, — Земля к ней спешит за данью, А радость ее и тоска Равны всему мирозданью.

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Когда деревья леденит мороз И круг плывет, пылая над поляной, Когда живое существо берез Скрипит в своей темнице деревянной,

Когда на белом пористом снегу Еще белее солнца отблеск ранний, — Мне кажется, что наконец могу Стереть не мною созданные грани,

Что я не вправе без толку тускнеть И сердце хитрой слабостью калечить, Что преступленье— одеревенеть, Когда возможно все очеловечить.

ЗИМНЕЕ УТРО

А кто мне солнце в дар принес, И леса темную дугу, И тени черные берез На бледно-золотом снегу?

Они, быть может, без меня Существовать могли бы врозь, — И лес, и снег, и солнце дня, Что на опушке родилось,

Но их мой взгляд соединил, Мой разум дал им имена И той всеобщностью сроднил, Что жизнью кем-то названа.

в большом кольце

Асфальт врывается в траву, Лес как бы надвое распорот. Стараясь повторить Москву, В лесу внезапно вырос город.

В нем есть кино, универмаг И стадион под синим сводом. Еще не завелось бродяг: Здесь житель кормится заводом.

А жители высоких крон Поют, паря над лесопарком, Что так волшебно озарен Промышленным свеченьем жарким.

Не зная о людских делах, Листва полна иных мелодий, Лишь объявленья на стволах Читает в вольном переводе. Ждет желтизна своей поры, Играет в прятки с солнцем белка, А за забором — маляры: Идет покраска и побелка.

Две жизни трогаются в рост, И в очереди у прилавка Мне кажется: смеется дрозд, Язвит снегирь, бормочет травка.

А там, в лесу, в кайме живой, Трепещет день в конце аллеи, И я беседую с листвой О результатах ассамблеи.

CTAPOCTЬ

В привокзальном чахлом скверике, В ожидании дороги, Открывать опять Америки, Подводить опять итоги,

С молодым восторгом каяться, Удивленно узнавая, Что тебя еще касается Всей земли печаль живая,

И дышать свободой внутренней Тем жадней и тем поспешней, Чем сильнее холод утренний — Той, безмолвной, вечной, внешней.

1962 Тбилиси

ЛЕЗГИНКА

Пир, предусмотренный заранее, Идет порядком неизменным. В селенье выехав, компания Весельем завершает пленум.

Пальто в автобусе оставили, Расположились за столами. Уже глаголами прославили То, что прославлено делами.

Уже друг друга обессмертили В заздравных тостах эти люди. Уже и мяса нет на вертеле, А новое несут на блюде.

Уже — звеня, — как жало узкое, Доходит музыка до кожи. На круг выходит гостья русская, Вина грузинского моложе. Она танцует, как бы соткана Из тех причин, что под вагоны Толкали мальчика Красоткина Судьбы испытывать законы.

Танцует с вызовом мальчишечьим, Откидываясь, пригибаясь, И сразу двум, за нею вышедшим, Но их не видя, улыбаясь.

Как будто хочет этой пляскою Неведомое нам поведать И вместе с музыкой кавказскою Начало бытия изведать.

И все нарочное, порочное Исчезло или позабыто, А настоящее и прочное Для нас и для нее раскрыто.

И на движенья грациозные Приезжей, тонкой и прелестной, Глядят красавицы колхозные, Притихший сад породы местной.

1962 Сухуми

МОЛЧАЩИЕ

Ты прав, конечно. Чем печаль печальней, Тем молчаливей. Потому-то лес Нам кажется большой исповедальней, Чуждающейся выспренних словес.

Есть у деревьев, лиственных и хвойных, Бесчисленные способы страдать И нет ни одного, чтоб передать Свое отчаянье...

Мы, в наших войнах

И днях затишья, умножаем чад Речей, ругательств, жалоб и смятений, Живя среди чувствительных растений, Кричим и плачем...

А они молчат.

ЗАЛОЖНИК

От Москвы километров отъехали на сто, И тогда мимо нас, как-то царственно вкось, Властелин-вавилонянин с телом гимнаста, Пробежал по тропинке породистый лось.

Князь быков, жрец верховный коровьего стада, Горбоносый заложник плебея-врага, От людей не отвел он бесслезного взгляда, И как знак звездочета темнели рога.

Он боялся машин и дорожного шума, Как мужчины порою боятся мышей, Был испуг маловажен, а важная дума В нем светилась печальною сутью вещей.

Побежать, пожевать бы кипрей узколистный, А свобода — в созвездиях над головой! Пленник мира, на мир он смотрел ненавистный, На союз пожирателей плоти живой.

РОЖДЕСТВО

В том стандартном поселке, Где троллейбус кончает маршрут, В честь рождественской елки Пляшут, пьют и поют.

Это отдых уборщиц, Судомоек и нянь-бедолаг, Громких грешниц и спорщиц, И насмешниц-трудяг.

Не ленивы как будто, Не бегут от шитья и мытья, Но у них почему-то Не бытуют мужья.

У красивой Васёны Настроенье гулять и гулять. Аппарат самогонный Поработал на ять. В деревенских частушках Есть и воля, и хмель, и метель. В разноцветных игрушках Призадумалась ель.

Сын смеется: — Маманя, Ты не видишь, что рюмка пуста! — И, глаза ей туманя, Набегает мечта.

А на небе сыночка В колыбели качает луна, Словно мать-одиночка, Ожиланья полна.

ГЕОЛОГ

Листья свесились дряхло Над водой, над судьбой. В павильоне запахло Шашлыком и шурпой.

В тюбетейке линялой, Без рубашки, в пальто, Он с улыбкой усталой Взял два раза по сто.

Свой шатер разбивавший Там, где смерч и буран, Наконец отыскавший Этот самый уран, —

Он сорвался, геолог, У него, брат, запой... День безветренный долог И наполнен толпой.

Наважденье дневное— Чудо русской толпы В сказке пыли и зноя, Шашлыка и шурпы!

В сорок лет он так молод, Беден, робок и прост, Словно трепет и холод Горных рек, нищих звезд...

СРЕДИ СУЕТЫ

Там, где смыкаются забвенье И торный прах людских дорог, Обыденный, как вдохновенье, Страдал и говорил пророк.

Он не являл великолепья Отверженного иль жреца, Ни язв, ни струпьев, ни отрепья, А только сердце мудреца.

Он многим стал бы ненавистен, Когда б умели различать Прямую мощь избитых истин И кривды круглую печать.

Но попросту не замечали Среди всемирной суеты Его настойчивой печали И сумасшедшей правоты.

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА

В центре города, где назначаются встречи, Где спускаются улицы к морю покато, В серой будке звонит городской сумасшедший, С напряжением вертит он диск автомата.

Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет, Битый час неизвестно кого вызывая. То ли плачет он, то ли товарищей кличет, То ли трется о трубку щетина седая.

Я слыхал, что безумец подобен поэту... Для чего мы друг друга сейчас повторяем? Опустить мы с тобою забыли монету, Мы, приятель, не те номера набираем.

У МОРЯ

Шумели волны под огнем маячным, Я слушал их, и мне морской прибой Казался однозвучным, однозначным: Я молод был, я полон был собой.

Но вот теперь, иною сутью полный, Опять стою у моря, и опять Со мною разговаривают волны, И я их начинаю понимать.

Есть волны-иволги и волны-прачки, Есть волны-злыдни, волны-колдуны, Заклятьями сменяются заплачки И бранью— стон из гулкой глубины.

Есть волны белые и полукровки, Чья робость вдруг становится дерзка, Есть волны — круглобедрые торговки, Торгующие кипенью с лотка. Одни трепещут бегло и воздушно, Другие — тугодумные умы... Природа не бывает равнодушна, Всегда ей нужно стать такой, как мы.

Природа — переводческая калька: Мы подлинник, а копия она. В былые дни была иною галька И по-иному думала волна.

СОДЕРЖАНИЕ

SHAKOMЫЕ MECTA

Сад на краю пустына	и.										5
На Тянк-Шане											7
Пустырь			4								9
								- 1		·	11
Соловьи							Ċ	·		Ċ	13
Снова в Одессе											15
Молодая мать								Ċ			17
Две весны								Ċ			19
Воробышек	i		Ċ	Ċ	Ċ	Ċ	•	•	·	Ċ	23
Кавказ подо мною		·	Ċ	·	·		·	·	·	Ċ	25
Южный полдень	·	•	·	Ċ	•	·	•	•	•	•	27
Пепел	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29
Poca	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	31
Богородица			•	•	•	•	•	•	•	•	32
Сосны	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	
Сосны	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠	•	٠	35
HA CBI	е ж	EM	кс) p 4	EB	ЬE					
В экипаже			٠								39
Игроки											41
Казачка											43
На свежем корчевье											44
Первое забвенье.						٠					46
Городок											48

Черный Р	рінок				•	•	,	٠	•	•	,	1	,	51
Черный Г Степь . В бинокл Запевка Правый (Павлинка Вечер . Поцелуй Два зерн Счастлив	, ,	•	,	,			•	1	•	•	,	,		54
В бинокл	е							,	,			,		57
Запевка			,	,	,	,	,	,	,	,	,		,	59
Правый (Seper							,			į.			60
Павлинка	٠,				į.	i	,	,	,					62
Вечер.											٠		,	63
Поцелуй		·									Ċ			64
Пва зерк	ала .	·								Ċ	Ċ		Ċ	66
Счастлив	err .								Ĭ		Ċ	Ċ		68
•		•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	
							ΜЛ							
«Есть пре Апрель Счастье Завод в Ночь в ст «Всюду с В толпе	елесть	гор	ька	ая.	x	٠.								71
Апрель ๋														72
Счастье														75
Завод в	лесу .													77
Ночь в ст	гаром	rop	оде	٠.										79
«Всюду о	ъет	». ·												81
В толпе														82
в толпе Окно . Музыка У ручья . В рестор Вожатый Звезда . Свидание У гроба .														84
Музыка	земли													86
У ручья.														87
В рестоп	анчик	e .												89
Вожатый	кара	ван	a						٠.					91
Звезда .			٠.	٠.										93
Свилание				·	Ċ									95
Углоба		•		Ċ	Ċ				i				Ċ	97
c ipoou.		•	·	•	·									
			TE	пн	P A	п	ит	u A						
Имена .					٠.									101
У развал	ин лив	оно	ко	го	за	MK	а.							105
Имена . У развал Из восто Подража Точильнь Ночь в І Степная Чабан	чной	рук	ОП	иси	Ι.									108
Подража	ние Қ	opa	ну											111
Точильнь	ий кам	ень												112
Ночь в І	Зухаре													115
Степная	прит	ıa												117
Чабан .				•-				•					•	121

EPEBAHCKAS POSA

Вечер на Чегеме												125
Поэзия												127
Утро												128
Тополя в Гунибе												130
Улица Печали .												132
Вильнюсское подво	рь	e										133
Забытые поэты .												134
Дрозд												135
Чещский лес												137
Арарат												139
Ереванская роза.												141
Щелковица												143
Улица v канала .				Ċ		Ċ	·	Ċ	Ċ		Ċ	145
Вечер на Чегеме Поэзия Утро Утро Утополя в Гунибе Улица Печали . Вильнюсское подво Забытые поэты . Дрозд Чешский лес . Арарат Ереванская роза . Ислковица Улица у канала .					•		•	•	•	•	•	
РИСУНКИ	H A	, c	BE	ЖЕ	M	ВО	3Д	УΧΙ	E			
To possesses poras												1.40
По весенним полям	•	•	٠	•	•	٠	•	•	٠		٠	149
дооро	•	٠	٠	٠	•	•	٠	٠		٠	٠	101
Очевидец . , . Вижитом – изиять -	•	•	•	•	•	٠	٠	٠		٠		152
Рисунок в начале в	sec.	ны	•	٠	٠	•	٠	٠	٠		•	153
Рисунок в вагоне Висунок на Баста		٠_	•		•	٠	•	•	٠	•	•	154
Рисунок на гречест	KOI	1 D	MO	ща	ІДИ	•		٠	٠		•	155
о праздничный ден П	ь	•	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	•	•	158
цветы	•	•	•	•	٠	٠	٠		٠	•		160
Соловеи поет					•						•	161
в роще	•			٠	٠							162
первый мороз .			•				•					164
Зимнее утро				•								165
В большом кольце												166
Старость												168
Лезгинка												169
Молчащие										,		171
Заложник												172
По весенним полям Добро												173
Геолог												175
Среди суеты												177
Гелефонная будка.												178
У моря						_	_					179

ЛИПКИН СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ

ОЧЕВИДЕЦ

М., «Советский писатель», 1967, 184 стр. Тем. план вып. 1967 г. № 168

Редактор Д. Н. Голубков, Художник Г. В. Алимов,

Худож. редактор В. В. Медведев. Техн. редактор В. Г. Комм. Корректор Л. К. Фарисеева

Сдано в набор 25/XI 1966 г. Подписано в печать 24/II 1967 г. А 02513. Бумага 70 × 108¹/₅₂., № 1. Печ. л. 5³/₄+1 вкл. (8.12). Уч.-изд. л. 3.9. Тираж 10 000 экз. Зак. № 1708. Цена 34 коп.

Издательство «Советский писатель», Москва Қ-9, Б. Гнездниковский пер., 10.

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3

